



**А. Т. ТАРАСЕНКОВ**

**Последние дни жизни  
Николая Васильевича Гоголя \***

Много суждений было произнесено о Гоголе, но до сих пор рассматривались более сочинения его, нежели он сам, а из одних напечатанных им при жизни сочинений нельзя вывести верного заключения о его личности. Чтоб вернее оценить его, как человека, надобно изучать его с разных сторон, в разных обстоятельствах его жизни<sup>1\*</sup>. Последние дни такого загадочного художника, как Гоголь, не должны быть закрыты тому, кто хочет проследить всю его жизнь для составления полной и верной его биографии. О предсмертном его состоянии написано весьма мало; даже немного известно, при каких условиях и от какой болезни произошла его кончина<sup>2\*</sup>. Одни назвали его болезнь нервическою горячкою, другие предположили воспаление в мозгу или кишках, иные вообразили, что смерть его произошла от расстройства умственных способностей, многие были уверены, что Гоголь умер голодною смертью<sup>3\*</sup>, были и еще предположения, но, судя по ходу болезни, по признакам, которыми она проявлялась, и по другим достоверным сведениям, эти предположения представляются столь неосновательными, что не заслуживают быть упомянутыми. Прежде, нежели рассмотрим начало и ход его последней болезни, нелишним будет указать на некоторые предшествовавшие обстоятельства.

---

\* Эта статья, за которую приносим душевную благодарность доктору А. Т. Т-ву, может служить дополнением ко второй и последней статье о «Записках о жизни Н. В. Гоголя», напечатанной в ноябрьской книжке «Отечеств<енных> Записок» нынешнего года.— Ред.

Гоголь нередко говаривал, когда ему нездоровилось, что у него особенная натура, на которую влияния действуют не так, как на всех других, и что ее нельзя мирить на одну мерку со всеми. Он относил свои слова к материальному устройству своего тела, но в особенности должно это разуметь о его духовной стороне. Жизнь его протекала оригинальным образом; сочинения его в высшей степени оригинальны и кончина его, по странному стечению обстоятельств, произошла совершенно неожиданно и оригинально.

Болезнь Гоголя началась очень давно. Еще со времени первого своего выезда из Малороссии он почитал себя больным<sup>4\*</sup>. Признаки болезни, на которые он чаще жаловался в последние годы, состояли в охлаждении оконечностей, в болезненном чувстве живота и в неправильном отделении кишек; иногда при этом он ощущал слабость сил и находился в мрачном расположении духа. Иногда болезнь ему казалась тяжкою, но скоро проходила. Через некоторое время он опять начинал жаловаться на болезненное состояние и по большей части почитал его непохожим на прежнее и весьма отличным от тех страданий, которые обнаруживаются в других людях. Из описываемых им болезненных припадков нельзя было заключить, что он страдает какою-либо важною болезнью: они появлялись у него внезапно и также внезапно исчезали<sup>5\*</sup>. Слишком большое внимание к своей незначительной болезни заставляло бы предполагать в нем ипохондрию, но он отличался от ипохондриков тем, что лечиться не любил или боялся. Не имея, кажется, даже самых поверхностных сведений об устройстве тела и вообще ни о какой медицинской науке, он судил ошибочно о важности действия на здоровье различных предметов. Безвредные он почитал сильнодействующими, от маловажных он надеялся получить огромное влияние, говоря: «кто знает, может быть, ничтожные средства действуют сильнее, нежели предполагают». О лекарствах аптечных он имел понятие как о ядах и решительно отказывался от них; если же и принимал какое-либо лекарство, то скорее по совету тех, которые утверждали о его испытанной на себе пользе, нежели по назначению самих врачей. Так он покупал заграничные какие-то хваленые пилюли, и иногда употреблял их. Про него можно сказать то, что он сказал про других: «он всю жизнь не верил докторам, а выдумывал сам невесть какую дрянь, которая, Бог знает почему, воображалась ему именно средством против его болезни»<sup>6\*</sup>. Лечение холодною водою у Пристница он

исполнял неточно, разбавлял холодную воду теплою; всякий раз приступал к употребляемым там приемам с большою робостью, и вскоре, не окончив курса, бросил вовсе это лечение. Живя за границею, он иногда предпринимал долгие путешествия, чтоб днем и ночью оставаться в карете, и это служило для него спасительным лекарством.

Пребывание в теплых краях, особливо в зимнее время, он считал для поддержания своего здоровья необходимою: он был уверен, что с своим расстроенным здоровьем не выдержит русской зимы<sup>7\*</sup>. Несмотря на это, на зиму 1851–1852 года, остался он в Москве, и хотя не чувствовал в себе никаких особенных болезненных явлений<sup>8\*</sup>, однако порывался отправиться в южные, теплейшие губернии, к родным своим. По свойственной ему нерешительности характера, он долго советовался с своими друзьями и людьми, которых советами весьма дорожил, ехать или не ехать? Все единодушно советовали ехать. По долгом откладывании, он, наконец, решился переехать и объявил об этом своим знакомым. Один из его земляков сделал для него прощальный обед; в день отъезда собрались к нему приятели провожать его, но он обманул их (или себя): отправился не в этот день, а только спустя несколько дней. Не проехав и полдороги до Малороссии, он, к нечаянному изумлению всех, возвратился в Москву, побывав только в какой-то пустыне. Это было осенью, остальное время которой и зиму он более и не говорил о своем отъезде<sup>9\*</sup>. К радости всех, он после этого не только перестал жаловаться на свою болезнь, но, по-видимому, в самом деле чувствовал себя лучше прежнего, ел, по обычаю, довольно много и притом сытные мясные кушанья<sup>10\*</sup>; особенно же любил он блюда малороссийские (вареники) и нередко упрекал хозяйку, где обедал, если, по его мнению, они *не так* были изготовлены. Переменять свойство и количество пищи он не мог без вреда для своего здоровья: по собственному его уверению, при постной пище он чувствовал себя слабым и нездоровым. «Нередко я начинал есть постное по постам, — говорил он мне, — но никогда не выдерживал: после нескольких дней пощения, я всякий раз чувствовал себя дурно, и убеждался, что мне нужна пища питательная». (Эти слова были ответом на мое признание, что я делаюсь неспособным к хорошему исполнению своих обязанностей, если некоторое время употребляю постную пищу.)

В эту *последнюю* зиму Гоголь был погружен в себя, задумчив, неразговорчив, как и прежде; однако близким к нему казалось,

что он был веселее обыкновенного; притом он нередко выходил со двора, навещал знакомых, даже бывал иногда на обедах. Деятельности в нем в это время обнаружилось больше, нежели прежде. Он даже стал заниматься тем, чем прежде пренебрегал, или на что не решался: он поехал в театр посмотреть своего «Ревизора» на московской сцене. Оставшись недоволен исполнением его, он пригласил к себе актёров и читал при них многие сцены, чтоб внушить им, как должно произносить слова согласно с его мыслью. Потом опять явился в театре (в ложе позади других) посмотреть, как исполняется пьеса после его замечаний, и остался доволен игрою более, нежели в прежнее время, особенно Хлестаковым, которого в это время играл уже Шумский<sup>1</sup>, пользовавшийся его наставлениями. Кажется, он собирался также посмотреть, как идут «Игроки» и «Женитьба», что можно заключить из одного нечаянного разговора.

Однажды слуга хозяина, у которого мы обедали, пришел проситься в театр. В этот вечер было два спектакля. Гоголь, знавший, что дают в этот день, спросил его: «Ты в который театр идешь?» — «В Большой, — отвечал тот, — смотреть “Аскольдову могилу”». — «Ну, и прекрасно!», — прибавил Гоголь со смехом. Желая вызвать его на разговор литературный, я продолжал начатую речь о театре и пьесах, и, обратясь к нему, сказал, что я также пойду в театр, но в Малый: там дают «Женитьбу». «Не ходите сегодня, — перебил Гоголь; — а вот я соберусь скоро, посмотрю прежде, как она идет, и, уладив, извещу вас». Разговор о театре завязался. Гоголь признался, что до сих пор не видел «Женитьбы». Он называл эту пьесу пустяками; но моряк Жевакин<sup>2</sup>, по его мнению, должен быть смешнее всех<sup>11\*</sup>.

До 1852 года я знал Гоголя только по его сочинениям и по рассказам о нем. Давно мне хотелось короче узнать этого художника, творения которого имели огромное на меня влияние. Только в этот год я достиг случая с ним познакомиться, видаться, беседовать. Описанный день, в который мы с ним обедали, особенно мне памятен: он был пред его болезнью последний, в который мне пришлось провести довольно долгое время вместе. Я, как бы предчувствуя, что мне не удастся более слышать его, дорожил каждым его словом и наблюдал его внимательно. Выйдя к обеду, он говорил, что зябнет, несмотря на то, что в комнате было +15° Р. Пока не подали кушанье, он скоро ходил по обширной зале, потирая руки, почти не разговаривая; на ходьбе только приостанавливался перед сто-

лом, где были разложены книги, чтоб взглянуть на них. Перед обедом он выпил полынной водки, похвалил ее; потом с удовольствием закусывал и после того сделался подобнее, перестал ёжиться; за обедом прилежно ел и стал разговорчивее. Не помню почему-то, я употребил в рассказе слово научный: он вдруг перестает есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово «научный, научный, а мы все говорили “научообразный”: это неловко, то гораздо лучше». Тогда я изумился, как может так сильно занимать его какое-нибудь слово; но впоследствии услышал, что он любил узнавать неизвестные ему слова и записывал их в особенные тетрадки, нарочно для того приготовленные. Таких тетрадок им исписано было много. Замечали, что он нередко, выйдя прогуляться перед обедом и не отойдя пяти шагов от дома, внезапно и быстро возвращался в свою комнату; там черкнет несколько слов в одной из этих тетрадок, и опять пойдет из дома.

После обеда Гоголь сидел в уголку дивана, смотрел на английскую иллюстрацию, все молчал, даже на этот раз не слушал, что говорили кругом него, хотя разговор должен был его занимать: разрешались религиозные вопросы, говорили о церковных писателях, которых он любил; однако ж, по нечаянному случаю, произошел описанный разговор о театре и он стал оживляться. Зашла речь о «Провинциалке» г. Тургенева, пьесе, которой придавали тогда большое значение. «Что это за характер: просто кокетка — и больше ничего», — сказал он. Обрадовавшись, что Гоголь сделался разговорчивее, я старался, чтоб беседа не отклонилась от предметов литературных и, между прочим, завел речь о *Записках сумасшедшего*. Рассказав, что я постоянно наблюдаю психопатов и даже имею их подлинные записки, я пожелал от него узнать: не читал ли он подобных записок прежде, нежели написал это сочинение. Он отвечал: «читал, но после». — «Да как же вы так верно приблизились к естественности?» — спросил я его. — «Это легко: стоит представить себе...» Я жаждал дальнейшего развития мысли, но, к прискорбью моему, подошел к нему слуга его и доложил ему о чем-то тихо. Гоголь вскочил и убежал вниз, к себе в комнаты, не окончив разговора. После я узнал, что к нему приезжал Живокини<sup>3</sup>, который в этот же вечер должен был в первый раз исполнять роль Анучкина<sup>4</sup>. Живокини (вероятно, по совету Гоголя), выполнил эту роль проще, естественнее, нежели она была выполнена прежде, и, главное, без кривляний и фарсов,

то есть так, как Гоголь желал, чтоб исполнялись и все, даже самые второстепенные роли.

По всему видно было, что Гоголь в это время еще занят был и своими творениями, и всем житейским; а это случилось не более, как за месяц до его смерти. В это время он перепечатывал прежние сочинения под собственным своим наблюдением, исправлял их, кое-что вставлял и сам держал корректуру, заказав единовременное печатание каждой части в особой типографии. Перед этим же временем он окончательно отделал и тщательно переписал свое заветное сочинение, которое было обрабатываемо им в продолжение почти 20-ти лет; наконец, после многих переделок, переписок, он остался им доволен, собирался печатать, придумал для него формат книги: маленький, в осьмушку, который очень любил, хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради научения и пользы всех сословий. Это сочинение названо *Литургиею*. Одному из моих знакомых, перечитавшему почти все духовные назидательные сочинения, Гоголь прочел эту «Литургию», и по уверению этого знакомого, никакая книга не производила на него такого впечатления. «Это сочинение Гоголя нельзя и сравнивать ни с каким другим сочинением того же рода: по силе слова оно превосходит все подобные сочинения, написанные на разных языках», — говорил он мне.

В эту же зиму приведен был к окончанию второй том *Мертвых душ* и еще какие-то статьи, которые должны были войти в состав прежних четырех томов полного собрания. Напечатав предположенное, он собирался посвятить себя какому-то труду по части русской истории. Не любя раскрывать своих задушевных мыслей, особенно говорить о себе как о сочинителе, тем более слушать себе похвалы, он в это последнее время, в задушевной беседе, объявил, однако, что довольнее своими последними, приготовленными к печати трудами, в которых «слог трезвый, крупный, яркий, не такой, как был в прежних, уже изданных сочинениях, когда он *вовсе не умел писать*».

Деятельная ли жизнь имела благоприятное влияние на здоровье, или улучшенное здоровье произвело эту деятельность — решить трудно, но замечательно, что знакомые Гоголя почитали его в это время совершенно здоровым; они ожидали от него в скором времени новых сочинений, из которых ясна будет всем и каждому его великая творческая способность, и были уверены, что слово его

разрешить многие вопросы, так сильно занимавшие в то время умы всей Европы; особенно этого надеялись те, кто знал, как сильно занимали его эти вопросы. По крайней мере им было известно, что он своим сочинениям посвящает много труда, забот и времени. В последние месяцы своей жизни Гоголь работал с любовью и рвением почти каждое утро до обеда (4-х часов), выходя со двора для прогулки только за четверть часа, и вскоре после обеда по большей части уходя опять заниматься в свою комнату.

«Литургия» и «Мертвые души» были переписаны набело его собственною рукою, очень хорошим почерком. Он не отдавал своих сочинений для переписки в руки других; да и невозможно было бы писцу разобрать его рукописи по причине огромного числа перемарок. Впрочем, Гоголь любил сам переписывать, и переписывание так занимало его, что он иногда переписывал и то, что можно было иметь печатное. У него были целые тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его рукою каллиграфически были написаны большие выдержки из разных сочинений. Второй том «Мертвых душ» был прочтен им в Москве по главам в разных домах, но число слушателей было весьма ограничено, да и те обязывались не рассказывать о содержании слышанного до поры до времени. «Литургия» была еще меньшему числу его знакомых известна, а о других своих сочинениях он упоминал только изредка. Читал он отлично: слушавшие его говорят, что не знают других подобных примеров. Простота, внятность, сила его произношения производили живое впечатление, а певучесть имела в себе нечто музыкальное, гармоническое. При чтении даже чужих произведений умел он с непостижимым искусством придавать вес и надлежащее значение каждому слову, так что ни одно из них не пропадало для слушающих. В. А. Жуковский по этому поводу сказал, что ему никогда так не нравились его собственные стихи, как после прочтения их Гоголем.

И переписанные набело сочинения он все откладывал отдавать в цензуру, отзываясь тем, что желает еще исправить некоторые места, которые кажутся не совсем вразумительными. Впрочем, по его деятельности и распоряжениям можно было заключить, что у него многое уже окончательно готово.

Однако ж и в это время, когда художническая деятельность, по-видимому, поглощала все его внимание, он любил разговаривать о религиозных предметах, особенно о том, что принадлежит православию. С глубоким вниманием слушал он обо всем, что

относится до христианства. Некоторые молитвы, некоторые псалмы приводили его в восхищение. Так, изречение Священного Писания: *Твори Ангелы своя дужи, и слуги своя пламень огненный* он повторял по нескольку раз сряду и удивлялся красоте выражений славянского языка. Однажды зашел у нас разговор о любви к Богу. Я припомнил ему слова из Нового Завета: «Не любяй брата своего, его же виде, Бога его же не виде, како может любити?» (I Иоан. IV, 20) и пожелал узнать от него: не думает ли он, что любовь к Богу можно выражать только любовью к человечеству? Он отвечал, что любовь к Богу есть еще высшее развитие любви христианской, прекрасно объясненное у писателей Церкви. При этом он указал мне на сочинение Иоанна Лествичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его. В другой раз сообщались рассказы о предчувствиях, о видениях, о разных необыкновенных случаях, бывших с разного рода людьми. Он охотно слушал эти рассказы; и хотя сам ничего не сообщал, но с любопытством расспрашивал подробности, с кем и как что случилось, желая особенно узнавать о проявлениях духовной жизни и чудесных знамениях Божиих.

От времени до времени в нем обнаруживалась мрачная настроенность духа без всякого явственного повода. По непонятной причине он избегал встречи с известным доктором Ф. П. Гаасом. В ночь на новый 1852 год, входя из своей комнаты наверх, он нечаянно встретил на пороге доктора, выходявшего из комнат хозяина дома. Гаас ломаным русским языком старался сказать ему приветствие и, между прочим, думая выразить мысль одного писателя, сказал, что желает ему такого *нового года*, который даровал бы ему *вечный год*. Присутствовавшие заметили тут же, что эти слова произвели на Гоголя невыгодное влияние и как бы поселили в нем уныние. Конечно, оно было скоропреходящее, но могло служить зародышем тех мрачных мыслей, которые впоследствии времени при других, более ярких впечатлениях, приняли огромный размер.

В феврале захворала г-жа Хомякова, с которой он был дружен. Ее болезнь озабочивала Гоголя; он часто навещал ее и разузнавал о важности, ходе и степени болезни, а также и об употребляемых пособиях. Когда ему объявили, что она в опасности и что ей назначены были аллопатические, *аптечные* лекарства, он в большом волнении прибежал к своему другу и предсказывал неминуемую гибель. К несчастью, больная действительно умерла в скором вре-

мени: смерть драгоценной для него особы поразила его до чрезвычайности. Он еще имел дух утешать овдовевшего мужа, но с этих пор сделалась приметна его склонность к уединению; он стал дольше молиться, читал у себя Псалтирь по покойнице.

Гоголь любил и прежде размышлять о делах человеческих, о спасении души, о конце жизни; но с этого времени мысль о смерти и о приготовлении себя к ней, кажется, сделалась преобладающею его мыслью. И прежде он охотно беседовал с духовными особами; теперь стал избирать для бесед нарочно таких людей, о которых знал, что они весьма строги в своих наставлениях. Он выражал желание, чтоб указывали ему недостатки не в одних его сочинениях, но и в жизни, и чтоб передавали ему беспристрастные замечания обо всем, что нужно исправить в нем как в писателе и человеке<sup>12\*</sup>. К великому его удовольствию, в это время приехал из Ржева священник, известный христианскою, строго православною жизнью. Гоголь постоянно питал к нему особенное уважение и всегда любил с ним беседовать. С особенною охотою разговаривал он с этим духовным наставником теперь, когда так желалось ему слышать строгие поучения. Священник, согласно с своими убеждениями и желанием его слушателей, исполнял возложенный на него долг, как требовал того высокий его сан: он просто и прямо излагал истины евангельские и наставления учителей Церкви. Основание его наставлений заключалось в том, что строгое выполнение учения православной церкви составляет необходимое условие духовного совершенства для всех, кто поставил целью своей жизни спасение души. Применяя свою речь к предлагаемым вопросам, он объяснял, как ничто земное не должно нас прельщать: «Если мы охотно делаем все для любимого лица, то в чем мы можем отказать для Иисуса Христа, Сына Божия, умершего за нас? Устав церковный написан для всех: все обязаны беспрекословно следовать ему; неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить *ничего более?* Слабость тела не может нас удерживать от пощения: какая у нас забота? для чего нам нужны силы?.. Много званых, мало избранных... Путь в Царствие Божие тесен... Мы отдадим отчет за *всякое слово праздное*» и проч. Такие, или подобные речи, соединенные с обличением в неправильной жизни, хотя и вызванные самим Гоголем, не могли не действовать на него, вполне преданного религии, восприимчивого и настроенного уже на мысль о греховности, смерти, вечности. Притом он видел, как этот наставник, преданный святым помыслам, на деле исполнял самые строгие пустынно-монашеские

установления Церкви. Много и долго молился, ел очень мало, не только строго соблюдал постные дни, но даже не благословлял стола в среду и пятницу прежде, нежели удостоверится, что нет ничего скоромного, и т. д. Несмотря на то, что Гоголь так любил духовные беседы и сам искал строгих наставлений, разговоры этого духовного лица, о котором он имел по-справедливости самое высокое понятие, так сильно потрясали его, что он однажды не владея собою, прервал его речь и сказал ему: «Довольно, оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно»...

Во вторник на масленице Гоголь проводил приезжего священника на станцию железной дороги и весьма был огорчен тем, что там обратилось на него всеобщее внимание, и многие с ненасытным любопытством преследовали его. Возбужденный ли действием наставлений и примером этого благочестивого священника, или глубоко опечаленный смертью любимой особы, или просто, имея потребность предаться душеспасительным помыслам, которые уже с давних пор так сильно его занимали, Гоголь обложил себя книгами духовного содержания более, нежели прежде, говоря, что «такие книги нужно часто перечитывать, потому что нужны уроки в жизни». С этих пор он бросил литературную работу и всякие другие занятия; стал есть весьма мало, хотя, по-видимому, не терял аппетита и жестоко страдал от лишения пищи, к которой привык и без которой всегда чувствовал себя дурно<sup>13\*</sup>. Свое пощение он не ограничивал одною пищею, но и сон умерял до чрезмерности; после ночной продолжительной молитвы он вставал рано и шел к заутрени, тогда как до сего времени не выходил со двора, не выпавшись достаточно и не напившись крепкого кофе. Это все не могло не обнаружить на его организм сильного действия.

Уже давно ему хотелось подробно и твердо знать устав церковный. Однажды он просил меня растолковать из него некоторые непонятые им места. По некоторым обстоятельствам жизни, я знал наизусть многое, до чего Гоголь с трудом мог доискаться в книге, и давал ему быстрые и точные ответы. Для него казались удивительными мои знания, и я должен был объяснить ему, как достиг до них. Так, занимал Гоголя устав Церкви, которым монашествующие и священно и церковнослужители руководствуются при совершении служб и назначении себе трапезы.

Наступила масленица. По учреждениям церковным, она составляет преддверие поста: уже начинает отчасти совершаться великопостная служба; употребление мясной пищи запрещено;

с самого начала недели поста, по некоторым уставам, не позволяется вовсе употреблять никакой пищи.

Изучив подробнее устав, Гоголь начал его придерживаться и, по-видимому, старался сделать более, нежели предписано уставом. Масленицу он посвятил говенью: ходил в церковь, молился весьма много и необыкновенно тепло; от пищи воздерживался до чрезмерности, за обедом употреблял несколько ложек капустного рассола или овсяного супа на воде. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отказывался болезнью, объясняя, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета, и притом оттого, что его лечили. Трудно решить, сколько правды было в его словах; однако легко можно себе представить, что при такой внезапной перемене образа жизни он действительно становился болен. Впрочем, в это время болезнь его выражалась только одною слабостью и в ней не было заметно ничего важного; самая слабость видимо происходила от чрезмерного изнурения и мрачного настроения духа. Несмотря на это ослабление тела, Гоголь продолжал поститься и проводить ночи на молитве; ослабление возрастало со дня на день. Впрочем, он еще мог выезжать и ходить.

Зная по опыту, как причащение Святых Таин успокоивало прежде Николая Васильевича во время его уныния, один из близких к нему людей присоветовал ему причаститься скорее, не продолжая приготовительного говения. Поговорив с своим духовником, он причастился в церкви, находящейся далеко от его дома (на Девичьем Поле), потом заезжал к М. П. Погодину, где его нашли очень расстроенным. Но Гоголь не успокоился: он остался по-прежнему мрачен, по-прежнему упорен в своих действиях: не хотел в этот день ничего есть, и когда съел просфору, то назвал себя нетерпеливцем и сокрушался сильно.

Кажется, изнеможение тела, дошедшее до болезненного состояния, еще более усиливало мрачное настроение духа и не позволяло ему судить и действовать по-прежнему. Его поступки сделались страннее обыкновенного, и теперь подавно нельзя было угадать его сокровенных желаний и намерений. В один из следующих дней он поехал в Преображенскую больницу на извозчике. Подъехав к воротам больничного дома, он слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой<sup>14\*</sup>. Вероятно, были

с ним и другие приключения, которые остались неизвестными, как и вообще многое сокрыто из его жизни.

Привыкшие к Гоголю сначала не удивлялись необыкновенным его поступкам, потому что такие поступки бывали с ним и прежде, и никогда не имели особенных последствий; но когда знакомые увидели, что он совершенно изменил все свои привычки и это заметно действует на его здоровье, то уговорили его посоветоваться с врачом. Призван был доктор, давнишний знакомец Гоголя, который нашел, что у него страдание находится в животе, посоветовал ему спиртные натирания, лавровишневую воду и ревенные пилюли; запретил выезжать. Не веря вообще медицине и медикам, Гоголь не воспользовался и его советами, как следовало, хотя и чувствовал себя весьма дурно. С этих пор он перестал принимать к себе знакомых, которым прежде никогда не отказывал.

Во всю масленицу после вечерней дремоты в креслах оставался он один по ночам, при всеобщей тишине, вставал и проводил долгое время в теплой молитве, со слезами, стоя перед образами. Ночь с пятницы на субботу он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил ему, что он недовольтвуется недавним причащением и просил тотчас же опять причастить и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Верно, мысль о смерти преследовала его непрерывно и не оставляла даже и во сне. Священник, видя его на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его отложить исполнение таинств до другого времени. По-видимому, после посещения священника он успокоился, но не прерывал размышлений, глубоко его потрясавших.

В понедельник и вторник первой недели поста в доме, где жил Гоголь наверху, в комнатах гр. Т. было вечернее Богослужение. Николай Васильевич, оставаясь эти дни почти без пищи, уже был так слаб, что едва мог дойти туда, останавливаясь на ступенях, присаживаясь на стуле; однако ж стоял в продолжение всей службы и молился. Известно, как радушно и усердно хозяева дома заботились о нем. Чтоб отстранить усталость, которой подвергался большой стоянием на молитве, они прекратили и для себя церковное служение под благовидным предлогом.

На этой же неделе (с понедельника на вторник ночью) Николай Васильевич велел своему мальчику раскрыть печную трубу, вы-

нул из шкапа большую кипу писанных тетрадей, положил в печь и зажег их. Мальчик заметил ему: «Зачем вы это делаете? Может, они и пригодятся еще». Гоголь его не слушал; и когда почти все сгорело, он долго еще сидел задумавшись, потом заплакал и велел пригласить к себе графа. Когда тот вошел, он показал ему догорающие листы бумаг и с горестью сказал: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен — вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях!»

Прежде этого Гоголь делал завещание графу взять все его сочинения и после смерти передать одной духовной особе: «Пусть он наложит на них свою руку; что ему покажется ненужным, пусть зачеркивает немилосердо». Теперь в эту ужасную минуту сожжения, Гоголь выразил другую мысль: «А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало». Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: «Это хороший признак — и прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью». Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: «Ведь вы можете все припомнить?» — «Да», — отвечал Гоголь, положив руку на лоб: — Могу; могу, у меня все это в голове». После этого он, по-видимому, сделался покойнее, перестал плакать.

Был ли этот поступок им обдуман прежде и произведен как следствие предшествовавших размышлений, или это решение последовало тут же, внезапно — разгадку этой тайны он унес с собою. Во всяком случае, после уничтожения своих творений, мысль о смерти как близкой, необходимой, неотразимой, видно, запала ему глубоко в душу и не оставляла его ни на минуту. За усиленным напряжением последовало еще большее истощение. С этой несчастной ночи он сделался еще слабее, еще мрачнее прежнего: не выходил более из своей комнаты, не изъявлял желаний видеть никого, сидел в креслах по целым дням, в халате, протянув ноги на другой стул, перед столом. Сам он почти ни с кем не начинал разговора; отвечал на вопросы других коротко и отрывисто. Напрасно близкие к нему люди старались воспользоваться всем, чем было только возможно, чтоб вывести его из этого положения. По ответам его видно было, что он в полной памяти,

но разговаривать не желает. Замечательны слова, которые он сказал А. С. Х-ву, желавшему его утешить: *надобно же умирать, а я уже готов, и умру...* Когда гр. А. П. Т. для рассеяния начинал с ним говорить о предметах, которые были весьма близки к нему и которые не могли не занимать его прежде (о письме общего, близкого знакомого, об образе матери, который затерялся было да нашелся, и проч.), он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!» Потом он молчал, погружался в размышления и тем заставлял графа замолчать. Впрочем, в эти же дни он делал некоторые неважные завещания насчет своего крепостного человека и проч., и рассылал последние карманные деньги бедным и на свечи.

Давно мне не случалось быть в доме, где жил Гоголь, и я не слышал ничего о его болезни. В среду на первой неделе поста прислали из этого дома за мною и объяснили, что происходит с Гоголем. Озабоченный положением больного, хозяин дома желал, чтоб я видел и сказал свое мнение о его болезни. По его рассказам мне пришло на мысль: не нужно ли подумать о том, как бы заставить больного употреблять пищу каким бы то ни было способом? Я передал о нескольких примерах психопатов, мною виденных и исцелившихся после того, как они стали употреблять пищу.

Однако ж Гоголь на этот раз не изъявил желания меня видеть. Наконец посещавший его врач захворал и уже не мог к нему ездить. Тогда граф настоял на своем желании ввести меня к нему. Гоголь сказал: «Напрасно, но пожалуй». Тут только я в первый раз увидел его в болезни. Это было в субботу первой недели поста. Увидев его, я ужаснулся. Не прошло месяца, как я с ним вместе обедал; он казался мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь передо мною был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткою, или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык с трудом шевелился, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удерживать

прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита.

Тогда еще не были мне сообщены предшествовавшие печальные события: его непреклонная уверенность в близкой смерти и самим им произведенное истребление своих творений. В это время главное внимание заботившихся о нем было обращено на то, чтоб он употреблял питательную пищу и имел свободное отправление кишек. Приняв состояние, в котором он теперь находился, за настоящую (соматическую) болезнь, я хотел поселить в больном доверие к врачеванию и склонить его на предложения медиков. Чтоб ободрить его, я показал себя спокойным и равнодушным к его болезни, утверждая с уверенностью, что она неважна и обыкновенна, что она теперь господствует между многими и проходит скоро *при пособиях*. Я настаивал, чтоб он, если *не может* принимать плотной пищи, то по крайней мере непременно употреблял бы поболее питья и притом питательного — молока, бульона и т. д. «Я одну пилюлю проглотил, как *последнее* средство; она осталась без действия: разве надобно пить, чтоб прогнать ее», — сказал он. Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье нужно для смягчения языка и желудка, а питательность питья нужна, чтоб укрепить силы, необходимые для счастливого окончания болезни. Не отвечая, больной опять склонил голову на грудь, как при нашем входе; я перестал говорить и удалился вместе с графом наверх.

Испуганный, встревоженный мыслью, что *Гоголь может скоро умереть*, я должен был собраться с силами, чтоб прийти в спокойное положение, в каком должно разговаривать с больным. Удалившись от графа, я почел обязанностью зайти опять к больному, чтоб еще сильнее высказать ему мои убеждения. Чрез служителя я выпросил у него позволение войти к нему еще на минуту. Мне вообразилось, что он колеблется в своих намерениях; я не терял надежды, что Гоголь, привыкнув видеть мою искренность, послушается меня. Подойдя к нему, я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечную употребил все усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил ему мысль, что врачи в болезни прибегают к совету своих собратий и их

слушаются; неврачу тем более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает преступление пред самим собою. Говоря это, я обратил свое внимание на лицо страдальца, чтоб подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его лица нисколько не изменилось: оно было так же спокойно и так же мрачно, как прежде: ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и тени. Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес вятно, с расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: «Я знаю, врачи добры: они всегда *желают* добра», но вслед за этим опять наклонил голову, от слабости ли или в знак прощания — не знаю. Я не смел его тревожить долее, пожелал ему поскорее поправляться и простился с ним; вбежал к графу, чтоб сказать, что дело плохо, и я не предвижу ничего хорошего, если это продолжится.

Как и чем было действовать при таком необыкновенном случае на эту исключительную личность? Граф употреблял все, что возможно было, для его исцеления. Советовался с духовными лицами, знакомыми своими и друзьями Гоголя, призывал для совещания знаменитейших московских докторов. Одно духовное лицо подало совет убеждать Гоголя, что его спасение не в посте, а в послушании, и просило его непрекословно исполнять назначения врачебные во всей полноте. Духовник навещал его часто; приходский священник являлся к нему ежедневно. При нем нарочно подавали тут же кушать саго, чернослив и проч. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним.

Неохотно, немного, но употреблял он эту пищу ежедневно; потом слушал молитвы, читаемые священником. «Какие молитвы вам читать?» — спрашивал он. «Все хорошо, читайте, читайте!» Друзья старались подействовать на него приветом, сердечным расположением, умственным влиянием, но не было лица, которое могло бы взять над ним верх; не было лекарства, которое бы перевернуло его понятия; а у больного не было желания слушать чьи-либо советы, глотать какие-либо лекарства. В воскресенье приходский священник убедил больного принять ложку клещевинного масла, и в этот же день он согласился было употребить еще одно медицинское пособие (*clysma*), но это было только на словах, а на деле

он решительно отказался, и во все последующие дни он уж более не слушал ничьих увещаний и не принимал более никакой пищи (три дня), а спрашивал только пить красного вина.

Силы больного падали быстро и невозвратно. Несмотря на свое убеждение, что постель будет для него смертным одром (почему он старался оставаться в креслах), в понедельник на второй неделе поста он улегся, хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели. В этот же день он приступил к напутственным таинствам покаяния, причащения и елеосвящения.

Спешить с медицинской помощью теперь, казалось, еще нужнее. Приезжали врачи; каждый высказывал свое мнение. Думали, судили, толковали; никто не присоветовал ничего решительного, да и не видно еще было близкой опасности. Между тем трудно было предпринять что-нибудь с человеком, который в полном сознании отвергает всякое лечение. Уже раз спасен он был от болезни в Риме без медицинских пособий; он приписывал это *чуду*. И в настоящее время сказал он одному из убеждавших его лечиться: «Ежели будет угодно Богу, чтоб я жил еще — буду жив...» Один близкий ему земляк (И. В. К-сть) хотел также действовать на Гоголя своим дружеским влиянием, но Гоголь ничего не отвечал на его слова, так что можно было подумать, что больной уже потерял память. Посетитель сказал: «Верно, ты, Николаша, меня не узнаешь? — «Как не знать?», — отвечал Гоголь и, назвав его по имени, прибавил: «Прошу не оставить вниманием сына моего духовника, который служит у вас в канцелярии», и опять замолк.

Во вторник являюсь я и встречаю гр. Т., чрезвычайно встревоженного сверх ожидания. «Что Гоголь?» — «Плохо; лежит. Ступайте к нему, теперь можно входить».

В Москве уж прослышали о болезни Гоголя. Передняя комната была наполнена толпою почитателей таланта и знакомых его; молча стояли все с скорбными лицами, поглядывая на него издали, и не показывались ему, боясь нарушить покой страждущего. Казалось, каждый готов был поплатиться своим здоровьем, чтоб восстановить здоровье Гоголя, возратить отечеству его художника.

Меня впустили прямо в комнату больного, без затруднения, без доклада. Гоголь лежал на широком диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. Против его лица — образ Богородицы; в руках четки; возле него мальчик его

и другой служитель. На мой тихий вопрос он не отвечал ни слова. Мне позволили его осмотреть, я взял его руку, чтоб пощупать пульс. Он сказал: «Не трогайте меня, пожалуйста». Я отошел, расспросил подробно у окружающих о всех отправлениях больного: никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание, как теперь, так и во все эти дни не обнаруживалось. Единственным важным припадком, продолжавшимся несколько дней, была констипация. Через несколько времени больной погрузился в дремоту, и я успел испытать, что пульс его слабый, скорый, мягкий, удобосжимаемый; руки холодноваты, голова также прохладна, дыхание ровное, правильное.

Между тем врачи, один за другим, приезжали проводить больного и узнавали, что с ним происходит. Один из почтенных врачей предложил магнитизировать больного, чтоб покорить его волю и таким образом заставить его делать что нужно. На следующий день положили собрать большой консилиум из опытейших врачей, чтоб приступить к мерам энергическим.

Целый вторник Гоголь лежал, ни с кем не разговаривая, не обращая внимания на всех, подходивших к нему. По временам поворачивался он на другой бок, всегда с закрытыми глазами, нередко находился как бы в дремоте, часто просил пить красного вина, и всякий раз смотрел на свет, то ли ему подают. Вечером подмешали вино сперва красным питьем, а потом бульоном. Повидимому, он уже неясно различал качество питья, потому что сказал только: «Зачем подаешь мне мутное?» — однако ж выпил. С тех пор ему стали подавать для питья бульон, когда он спрашивал пить, повторяя быстро одно и то же слово: «Поддай, поддай!». Когда ему подносили питье, он брал рюмку в руку, приподнимал голову и выпивал все, что ему было подано.

Вечером этого же дня пришел врач для магнитизирования. Когда он положил свою руку больному на голову, потом под ложку, и стал делать пассы, Гоголь сделал движение телом и сказал: «Оставьте меня!» Продолжать магнитизирование было нельзя.

Еще позже в этот же вечер призван был другой врач. Видя, что больной лежит молча, как бы в беспамятстве, он взял его за руку и, приблизившись к его лицу, громким голосом стал добиваться, что болит. Ответа не было. «Николай Васильич! не болит ли голова?» Больной отвечал внятно: «Нет». — «Под ложкою?» — «Нет». При дальнейших вопросах, Гоголь умоляющим голосом сказал: «Оставьте меня!», отвернулся и спрятал руку. Ясно было, что он

терял терпение и досадовал. Доктор предполагал сделать больному кровопускание и проч., но все энергические действия отсрочены были до завтрашнего консилиума. Одно только пособие сделано было в эту же ночь: когда больной перевертывался, вложили ему *suppositorium* из мыла, и это не обошлось без крика и стога.

На следующий день, в среду утром, больной находился почти в таком же положении, как и накануне; но слабость пульса усилилась весьма заметно, так что врачи, видевшие его в это время, полагали, что надобно будет прибегнуть к средствам возбуждающим (*moschus*). Около полудня собрались вместе приглашенные доктора (пятеро), а также несколько друзей Гоголя и множество знакомых. Тут передано было все, что случилось с больным в последнее время, и в каком положении он находится теперь. При суждении о болезни взяты в основание: его сидячая жизнь; напряженная головная работа (литературные занятия); они могли причинить прилив крови к мозгу. Усиленное стремление умерщвлять тело совершенным воздержанием от пищи, неприветливость к таким людям, которые стремятся помочь ему в болезни, упорство не лечиться заставили предположить, что его сознание не находится в натуральном положении. Поэтому предложен был вопрос: оставить ли теперь больного без пособий, которые он отвергает сам, или поступать с ним, как с человеком, не владеющим собою? Решили: лечить больного, несмотря на его нежелание лечиться.

Все врачи вошли к больному, стали его осматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что чрез него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон или крик. На вопросы докторов больной или не отвечал ничего, или отвечал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня, ради Бога!».

Кроме исчисленных явлений, ускоренный пульс и носовое кровотечение, показавшееся было в продолжение его болезни само собою, послужили показанием к приставлению пиявок в незначительном числе. Одному из врачей препоручено принять на себя выполнение всего того, на что согласилось большинство присутствовавших. По его распоряжению и в его присутствии было поставлено восемь пиявок к ноздрям, приложены холодные

примочки на голову, а потом сделано обливание головы холодной водою в теплой ванне. Когда больного раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно. После ванны его опять положили в постель, обернув в простыню. Видно, он прозяб, потому что проговорил: «Покройте плечо, закройте спину!» Во время приставления пиявок он повторял неоднократно: «Не надо, не надо!»; когда они были поставлены, он твердил: «Снимите пиявки, поднимите (ото рта) пиявки!» и стремился их достать рукою, которую удерживали силою. Один из консультантов, приехавший позже других и знавший лично Гоголя, выслушав историю его болезни, назвал болезнь *gastroenteritis ex inanitione*, объявил дурное предсказание, сказав, что навряд ли что-либо успеете сделать с *этим* больным при таком его нежелании лечиться; но другие врачи не теряли надежды на его спасение и в шесть часов вечера опять собрались у больного.

Гоголь лежал молча, как бесчувственный, и как будто не обращал внимания или не понимал того, что около него происходило, несмотря на громкий разговор окружающих. Предлагали ему вопросы, называли его по имени, но не добились ни одного слова. Тут положили ему на голову лед, на руки и на ноги горчичники, поддерживали кровотечение из носа, внутрь давали лекарство. Но и эти деятельные пособия не оказали благоприятного действия. Пульс делался все слабее; дыхание, затрудненное уже утром, становилось еще тяжелее. Вскоре больной перестал сам поворачиваться и продолжал лежать смирно на одном боку. Когда с ним ничего не делали, он был покоен, но когда ставили или снимали горчичники и вообще тревожили его, он издавал стон, или вскрикивал; по временам он явственно произносил: «Давай пить!», уже не разбирая, что ему подают.

Позже вечером он, по-видимому, стал забываться и терять память. «Давай бочонок!» — произнес он однажды, показывая, что желает пить. Ему подали прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не мог сам приподнять голову и держать рюмку; надобно было придержать и то и другое, чтоб он был в состоянии выпить поданное. Еще позже он по временам бормотал что-то невнятно, как бы во сне, или повторял несколько раз «давай, давай! ну что ж?». Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!..» Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. В это время он уже так ослабел, что голова

его не могла держаться на шее и падала машинально, как у новорожденного ребенка. Тут привязали ему мушку. Во все это время он не глядел и непрерывно стонал. Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться; он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступает смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва приметным.

После этого обморока Гоголь уже не просил более ни пить, ни поворачиваться; постоянно лежал на спине с закрытыми глазами, не произнося ни слова.

В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячею водою, стал почаще давать проглатывать бульон, и это, по-видимому, его оживляло; однако ж, вскоре дыхание сделалось хрипкое и еще более затрудненное; кожа покрылась холодною испариною, под глазами посинело, лицо осунулось, как у мертвеца. В это время приехал доктор, который распорядился лечением. Он продолжал почти во всю ночь давать лекарства и употреблять разные медицинские меры. Больной только стонал, но не произносил более ни слова.

На другой день, в четверг 21-го февраля 1852 года, доктора не успели устроить нового совещания, которое предполагали возможным. Приехав в назначенный час, они нашли не Гоголя, а труп его: уже около восьми часов утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни...<sup>15\*</sup>

Москвичи еще раз собрались навестить своего любимого поэта, но увидели его уже мертвым. Тут же все узнали о сожжении его сочинений; в шкапах их не нашлось.

Печальная весть в несколько часов разнеслась по городу; кто горевал о потере Гоголя, кто о потере его умственного наследия. Всем хотелось разувериться, что погиб великий русский художник вместе с своими творениями.

Я был в квартире Гоголя в десятом часу утра. Умерший лежал уже на столе, одетый в свое обыкновенное платье; над ним служили панихиду; с лица его снимали маску. Долго глядел я на него. Мне казалось, что лицо его выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную за гроб.

Необыкновенный человек был он при жизни; необыкновенна была и его кончина. Над такими явлениями жизни и смерти призадумывается и врач, и психолог, и всякий мыслящий человек.

## Примечания

<sup>1\*</sup> Гоголя всякий судил по-своему, руководствуясь своим взглядом, так что в мнениях о нем более выражались понятия самих судивших, нежели истинная характеристика этой необыкновенной личности. Иногда из немногих данных, известных о Гоголе, выводили общие заключения, которые, при более подробных и обстоятельных сведениях, оказывались несправедливыми. Особенно ошибались в суждении о нем те, которые брали в основание одну какую-либо его сторону. Таким образом, приходилось слышать мнения о Гоголе совершенно противоположные одно другому. Для одних в Гоголе все было безусловно хорошо, для других его произведения были превосходны, а сам он достоин осуждения; а для некоторых поступки его, его образ мыслей, вся его жизнь были безукоризненны, а сочинения его по большей части были ничтожны, не стоили его самого, так что при оценке Гоголя они должны занимать последнее место.

Одни видели в его жизни постепенное, последовательное развитие одних и тех же начал, и предсмертные явления считали естественным следствием его жизни; другие думали наоборот, что смолоду Гоголь был не таков, как после; что он с некоторого времени, от непонятных причин, изменился, переменял образ мыслей, пошел другой дорогой, совратился с надлежащего, художнического пути, из художника сделался мыслителем, из поэта — аскетом, и смерть была как бы наказанием за это насильственное извращение природы.

Иные хотели видеть в нем более всего великого художника, другие — высокообразованного истинно православного христианина. Многим казалось, что его поэтически произведения могли иметь сильнейшее влияние на общество, нежели его нравственные наставления. Даже после смерти его спорили: принадлежит ли его бездыханное тело избранному числу лично известных ему людей, или всей публике, знавшей его только по его произведениям; должно ли его хоронить по-семейному (как он сам любил жить: тихо, скрытно, скромно, в тишине), без церемоний, как частного человека, то есть в своем приходе, где бы искренно за него помолились как о человеке; или совершать над ним погребение публично, в церкви, принадлежащей университету, с помпою, как над знаменитым писателем, имевшим огромное значение, великим художником, влияние которого отражается на всех его соотечественниках, как почетного члена университета, честь и славу России.

Будущий биограф Гоголя, которому удастся собрать все материалы для жизнеописания, должен будет решить, какие суждения о нем были справедливы, какие ложны, какие односторонни. Гоголь сам, как бы предугадывая, что о его оригинальной личности будет много кривых толков, сказал: «Чем человек менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений».

Завидная доля того биографа, который сумеет так прозреть Гоголя, как Гоголь прозрел Чичикова, а не так, как на Чичикова смотрели все люди.

<sup>2\*</sup> Обыкновенно спрашивают: от какой болезни такой-то человек умер? и удовлетворяются наименованием ее; но название болезни во многих случаях не дает полного и точного понятия о тех особенностях, с которыми болезнь протекла. Часто болезнь, известная под одним и тем же названием, проявляется различными признаками. В Гоголе все имело особенный характер, и болезнь его выходила из ряда обыкновенных, часто встречающихся явлений. Ее трудно выразить словом, назвать по имени.

<sup>3\*</sup> Насколько справедливы упомянутые мнения — видно будет из самого изложения хода болезни. Замечу только, что надобно различать причину смерти от тех обстоятельств, которые произвели болезнь. Этих обстоятельств было множество; они как бы нарочно соединились, чтоб усилить болезнь и привести ее к смертному исходу. При недостаточности верных заключений, лучшее изъяснение его болезни — ее описание. Впрочем, мой собственный взгляд на нее я также представляю в конце моей статьи. Не ручаюсь за его непогрешительность, тем более, что я сам до сих пор в недоумении относительно всего, что касается натуры Гоголя.

<sup>4\*</sup> Заметки мои составлены вскоре после смерти Гоголя; главные их основания записаны в самый день его смерти. Я оставил их почти в том виде, как они вышли из-под пера в 1852 году. Теперь считаю нелишним в примечаниях указать на некоторые места из напечатанных писем Гоголя, которые имеют близкое отношение к упоминаемым предметам. Эти места при чтении писем могут ускользать от внимания, и для отыскивания их потребовалось бы перечитывать многое.

В письмах своих он весьма часто упоминает о своем болезненном состоянии. В 1832 году он называет свое *здоровье хилым* (письмо к М. П. Погодину). В 1833 году ему пришло в *думку* полегчитья водами, зане *скудельный состав часто одолевает недугом и крайне дряхлеет* (письмо к М. А. Максимовичу). В 1834 году он уверял, что *здоровье его еле держится*, а в 1839 году, что оно *non vale un figo*, хуже нынешней русской литературы и т. д.

<sup>5\*</sup> Из сличения собственных писем Гоголя, писанных к разным особам или в разное время, видно, что болезнь у него по большей части обуславливалась каким-нибудь душевным расстройством. Когда дух его делался покойнее, он забывал о своей болезни и даже переставал почитать себя больным. Кажется, чаще представлялось ему только, что он опасно болен, а на самом деле болезнь его скоро пропадала при одной перемене внешних обстоятельств, без всякого медицинского пособия. В 1840 году сообщает он из Рима от 17-го октября М. П. Погодину за тайну, что он в Вене был при смерти болен: по одному тому, что он имел тяжесть в груди и давление, он подозревал в себе чахотку. К этому, по словам его, присоединилась тоска, которой нет описания. Он был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут не мог он остаться в покойном положении, ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. Уже он «нацарапал было» духовное завещание, но ему показалось странно умереть среди немцев; ему захотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу — поехать на русской перекладной... в Камчатку! В этом положении

он отправился в Италию; воздух освежил его и через два месяца (28-го декабря) он уже пишет, что здоров, чувствует даже свежесть, занимается сочинением.

<sup>6\*</sup> Доказательством тому, что его понятия о болезни, о лекарствах и о врачах были темны и часто ошибочны, служат также его письма. В 1832 году приехав в Васильевку, он устал так, что едва опамятовался после бесконечной дороги и проклятой езды. Вместо отдыха поехал в Полтаву и объездил всех докторов; он из разговоров с ними заключил, что их мнения вздорны, и не нашел иного средства, как попросить заглазно у Дядьковского рецепта. Чем же выражалась его болезнь в это время? *«Мне кажется, — пишет он, — будто чувствую небольшую боль в печёнке и спине. Иногда болит голова, немного грудь. Вот все мои припадки»*.

Рецепт Дядьковского ему выслан, пилюли из аптеки он взял, но принимать их боится, потому что в рецепте *была ошибка?* Через месяц после того, он пишет, что здоровье его лучше и тяжесть в животе, может быть, происходит оттого, что желудок беспрестанно занимается варением то груш, то яблок. Впоследствии он прямо высказывает свое убеждение, что *лечение и медикаменты только растрavляют* (Рим — 1840 году). В 1845 году он пишет (к С. Т. Аксакову), что он уверился наконец, что главное дело в его болезни — нервы. Это мнение высказано ему было и Шенлейном. Авторитет этого врача, вместе со всеми собранными до сих пор сведениями, не оставляют сомнения в том, что это мнение справедливо.

<sup>7\*</sup> Пребывание за границею скорее его успокаивало и тогда, когда ему приходилось очень тяжело, от болезни ли, или от душевных страданий. И вероятнее то, что душевные страдания производили в нем болезненные ощущения в теле, нежели то, что болезнь телесная была причиною душевных страданий. В 1836 году он пишет: «Не доставит мне Москва спокойствия... Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники». В 1840 году: «О, выгони меня, ради Бога и всего святого, в Рим. Да отдохнет душа моя! Скорее, скорее! Я погибну. Еще, может быть, возможно для меня освежение!» По приезде в Рим он пишет: «Дорога сделала надо мною чудо. Свежесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал». Во многих местах его писем ясно выражается мысль, как спасительно для него жить в теплых краях по многим причинам. «Как тяжело мое существование здесь! Жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы, охладившие здесь» (в 1840 году). «Здоровье мое и сам я уже не гоюсь для здешнего климата, а главное, моя бедная душа: ей нет здесь приюта (в 1842 году)». Перебирая письма Гоголя, нельзя не заметить, что когда он доволен и весел, то почти не упоминает о болезни; напротив, когда что-либо его огорчало, или когда он нуждался в деньгах, или вообще когда что-нибудь у него не ладилось, тогда он жалуется и на болезнь, иногда почитая ее даже опасною. Вспомним, что он писал, приготавливаясь издавать «Мертвые Души». Указывая на то, чем он жертвовал, занимаясь этим трудом, он называет себя писателем, *обремененным болезнями*. Интересно, как он описывает *физическое препятствие*

писать в Москве: «Голова моя *страдает* всячески: если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут, и вы не можете себе представить, какую *муку чувствую* я всякой раз, когда стараюсь в то время пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать. Если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно: малейшее движение *производит в голове такое странное ощущение всего, как будто бы она хотела треснуть...* Но вы сами в душе вашей можете чувствовать, как сильно могу я иногда *страдать* в то время, когда другому никому невидны мои страдания».

Как трудно было ему жить в суровом климате, особенно после продолжительного пребывания в южных краях — это ясно видно также из его писем. Зимой 1850 года он пишет: «Пищу из Одессы, куда убежал от суровости зимы. Последняя зима, проведенная в Москве, *далась мне знать сильно*. Думал было, что укрепился и запасся здоровьем на юге надолго, но не тут-то было. Зима третьего года кое-как перекочилась, но прошлого — едва-едва вынеслась. Не столько были для меня несны самые недуги, сколько то, что время пропало даром; а время мне дорого. Работа — моя жизнь; не работается — не живется... Слабая натура моя так уже устроилась, что чувствует жизненность только там, где тепло ненатопленное». Видно, пребывание в теплых краях и литературный труд, одно без другого по его натуре не могло существовать, и притом то и другое было необходимым условием для поддержания его здоровья. Известно, как не удовлетворила его ни одна из должностей, которые он принимал на себя; как он, наконец, убедился, что в качестве писателя он исполняет тот долг, для которого призван на землю, для которого именно ему даны способности и силы, и что, исполняя этот долг, он служит в то же время своему государству. Тогда он оставил все лучшие приманки жизни; как отшельник разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем, чтоб ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. «Без писательства жизнь потеряла бы для меня всю цену, — говорит он; — не писать — для меня совершенно значило бы то же, что не жить». А как велика была его боязнь, что ему не удастся окончить то сочинение, которым занята была постоянно его мысль в течение десяти лет! Ужасно было то состояние, когда им овладел страх смерти: он потерял все его существование.

<sup>8\*</sup> Чтоб не упускать из виду ничего такого, что относится к болезни Гоголя, упомянем здесь об одном обстоятельстве, которое иные врачи могут почитать имеющим связь с последнею его болезнью. Около этого времени у него показалось небольшое течение из уха, будто бы от какой-то вещи, туда попавшей; но, по осмотре, никакого постороннего тела не найдено, ухотечение вскоре прошло почти без лечения; на боль в ухе он никогда после и не жаловался.

<sup>9\*</sup> А летом (июль) он писал к сестрам, объясняя, почему не может ехать: «Плохи мои обстоятельства: не устроил дел своих так, чтоб иметь средства прожить эту зиму в Крыму (проезд не по карману, платить за квартиру и стол тоже не по силам) и поневоле должен остаться в Москве. *Последняя*

*зима была здесь для меня очень тяжела. Боюсь, чтоб не проболеть опять, потому что суровый климат действует на меня с каждым годом вредоносней, и не хотелось бы мне очень здесь остаться».*

<sup>10\*</sup> В одном письме к С. Т. Аксакову (1849) он включает себя в число *скоромников* и заблаговременно упоминает об этом обстоятельстве, чтоб хозяин не забыл прибавить для него кусок бычачины.

<sup>11\*</sup> Этот и многие последующие разговоры с Гоголем записаны мною на память для себя и не вяжутся с моим рассказом о его болезни; но я не исключил их из моих записок, потому что многие интересуются всяким, по-видимому незначительным, действием или словом гениального человека.

<sup>12\*</sup> Припомним, что он писал к друзьям своим еще задолго до этого времени: «Мне больше, нежели кому-либо другому, нужно указывать на “мои недостатки” (в 1840 году). Будьте взыскательны, как только можно, и постарайтесь отыскать во мне побольше недостатков, хот бы даже они вам самим казались неважными» (в 1842) и т. д.

<sup>13\*</sup> В один из этих дней приезжает к нему М. С. Щепкин<sup>5</sup>. Видя его в хандре и желая его развеселить, рассказал он ему много смешного; и когда тот оживился, он напомнил, что у него нынче отличнейшие блины, самая лучшая икра и т. д., распisał ему обед так, что у Гоголя, как говорится, слюньки потекли. Гоголь обещался приехать обедать; условились во времени; но он приехал к Щепкину за час до обеда и, не застав его, приказал сказать, что извиняется и обедать не будет оттого, что вспомнил о прежде данном обещании обедать в другом месте. От Щепкина он возвратился домой и обедать не поехал никуда. Это, кажется, было его последнее свидание с ним. Спустя несколько дней, он велел уже отказывать всем своим знакомым, и — ему!

<sup>14\*</sup> По случаю дурной погоды, он мог в такую прогулку простудиться; впрочем, начало и течение болезни не показывали простудного (острого) характера. Вероятно, во всю масленицу он еще был здоров по обыкновенному, если не считать началом болезни уже наступавшее изнурение сил. Из дальнейшего изложения хода болезни видно будет, что и в конце первой недели поста еще не было видно лихорадочного состояния и никакой особенной формы болезни, кроме увеличившегося изнурения сил. Только за три дня до смерти он слег в постель, да и тогда еще нельзя было приметить явного поражения в каком-либо органе. При начале лечения, которое произведено было накануне его смерти, также еще не существовало симптомов, угрожавших опасностью жизни. Настоящий бред и внезапное падение сил показали только за несколько часов перед смертью.

В Преображенской больнице находится один больной (Иван Яковлевич), признанный за помешанного; его весьма многие навещают, приносят ему подарки, испрашивают у него советов в трудных обстоятельствах жизни, берегут его письменные замечания и проч. Некоторые радуются, если он входит с ними в разговор; другие стыдятся признаться, что у него были... Зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу — Бог весть.

<sup>15\*</sup> Что же за болезнь была у Гоголя, от которой он умер? Мы видели, что смерть его приписывали болезням и причинам весьма различным между

собой. Какое же мнение о болезни более других подходит к справедливому? Трудно признать ее за нервную горячку (тиф), которая имеет другие признаки, другой ход, продолжается определенное время и во всяком случае не причиняет смерти так скоро. Воспаление мозга — хотя многие симптомы и указывали на него — также не выразилось теми явлениями, которые сопровождают дальнейшее течение этой болезни: не было ни конвульсий, ни паралича. Никак нельзя утверждать, что Гоголь умер от голода, потому что он не вовсе лишал себя пищи, исключая только три последние дня. Нет также достаточных причин предполагать сумасшествие, особенно в первое время болезни, когда он был при полном сознании, в твердой памяти, если не называть помешательством упорное выполнение задуманной мысли, может быть, ошибочной, но не безрассудной. Притом больные, страждущие *mania religiosa*, обыкновенно имеют и другие понятия запутанные.

Кроме того, главное, расстройство умственных способностей само по себе не бывает причиною смерти, по крайней мере такой быстрой. Если и можно было считать большого Гоголя не владевшим собой, то только в самое последнее время его жизни. Из всего каталога болезней трудно назвать какую-нибудь одну, которая положительно объяснила бы смерть Гоголя: одна некропсия могла бы удостоверить нас в наших предположениях.

Чтоб доставить другим возможность делать свои заключения, я представил описание состояния, в котором находился Гоголь в последние дни своей жизни, присоединив некоторые известные мне факты из его прежней жизни. Мне остается указать на некоторые обстоятельства, которые, по моему мнению, могли условливать происхождение болезни, влиять на ее развитие и привести ее к печальному окончанию.

Духовный элемент, кажется, был преобладающею причиною его беспокойства, потрясений, и мог вызвать телесные страдания. И задолго пред смертью одни тревожные положения, в которых он нередко находился, производили в нем *такие тяжкие и невыносимые болезненные состояния, что повеситься, или утопиться, ему казалось как бы похожим на какое-либо лекарство* (в 1846 году), а между тем главное дело в этих болезненных состояниях, и по уверению Шёнлейна, были нервы. Кроме безденежья, разных неудач, разочарований, самая деятельность, в которой он полагал свое призвание, задачу жизни, деятельность, без которой он не считал и жизни за жизнь (не работается — не живется), самое его творчество потрясало его здоровье: в описаниях житейской пошлости он весь переселялся в описываемое и глубоко страдал, как бы живя на время жизнью своих героев. Изучая все встречающееся в жизни, он ясно понимал пошлое даже там, где другие его не видали, и скорбел о нем. Но не удовольствовался он тем, что с поразительно глубокою художественностью воспроизводил жизнь в образах; в позднейшее время он навязал своему искусству цель внешнюю: стал домогаться разрешить задачу: как посредством поэтических представлений так подействовать, чтоб все изменилось к лучшему. В последующих своих сочинениях он надеялся разрешить глубокую задачу совершенствования: представить лучший порядок вещей, лучших людей,

лучшую жизнь. Окруженный религиозными людьми и сам всегда истинно преданный религии, в последнее время он подвергся исключительному ее влиянию и окончательно убедился, что она одна разрешит и для других и для него все возможные задачи. Совершенствование, кажется, он начал с себя самого и предложил себе вопрос: как ему жить и действовать, чтоб не упустить ничего, предписываемого православием?

Религиозная настроенность заняла все его существование: непрерывно помышляя о небесном, он перестал дорожить земным и устремил все внимание на себя, чтоб достойно приготовить себя к будущей жизни достижением возможного совершенства. Беседы с духовными лицами навели его на мысль, как во многом он погрешал прежде. Тут он открыл в себе такие недостатки, которые ему показались ужасными; самые сочинения его, столь любезные ему и столь благотворно действовавшие на других, показались ему недостаточными, незрелыми, вредными, греховными; он остался так недоволен собою, что решил переломить свою натуру. Высшая христианская добродетель — смирение перешла границы: вместо того, чтоб возвысить душу, она умертвила тело.

Вероятно, ему казалось, что он не исполнил одного из подвигов христианских — измождения плоти, о котором так высоко отзываются подвигоположники, отшельники мира; он возненавидел плоть свою, перестал ее питать, решил быть отшельником в мире. Разумеется, его художественное направление, составлявшее для него жизнь, не исчезло в нем и производило ужасное борение, однако оно с этого времени заслонилось высшими стремлениями, не литература, а душа и дело душевное поглотили все его внимание в это последнее время.

Взяв себе в образец и наставление, сочинение Иоанна Лествичника, которое ему так нравилось своими строгими правилами, он старался достигать высших ступеней, в нем описанных, и принялся за лишения. Пища сытная и обильная была им любима по необходимому требованию организма: он решил, что ему нужно отказать себе и в ней, и вот, круто повернув с французской кухни на пустынный стол, перестал он есть все питательное, все ласкающее вкус, и стал довольствоваться прохлаждающим, невкусным и скудным столом. Чтob не заслужить порицания и не подвергнуться осуждениям, он стал утверждать, что есть не хочет, или не может, по болезни; иногда он принужден был лгать, отказываясь от обеда под другими предложениями. Такой переход от обычного, сытного стола к чрезмерному пощению, особенно быстро произведенный, не мог остаться без важного влияния на его тело. Позабыл он, что почитал сам нужным помнить и твердить беспрестанно всем русским: «Ничего не доводи до излишества! В наши лета совершенно переламявать привычки и прежний образ жизни опасно, иначе как раз потеряешь равновесие между телом и духом». (1851 г. янв. 25-го. Одесса. Н. А. Плетневу). Вероятно, это излишне быстрое *переламявание привычек и образа жизни* и действительно произвело более важное страдание брюшных внутренностей, особливо присоединившись к прежним страданиям живота. Дальнейшее воздержание от пищи еще более усиливало болезнь

и наконец образовало воспалительное состояние желудка и кишок: в это время, вероятно, он уже и не мог есть, как здоровый, хотя бы и решился не поститься более.

Двинула его к этому посту не по силам мысль о предстоящей смерти. Растроганный смертью любимого существа, уверенный в своей болезненности и необходимости умереть, как умер его отец в эти же лета и от этой же болезни, он видел явное подтверждение своих догадок, действительно имея болезненные ощущения в животе и неправильные кишечные отправления. Этим умер отец, этим должен умереть и он — таково было его убеждение!..

От поста, от бдений, от утомлений всякого рода его физические силы стали явственно уменьшаться: он похудел, едва мог двигаться. Ослабел телом, ослабел он и духом. *Равновесие между телом и духом потерялось.* Наклонный верить всему необычайному, он часто помышлял о сверхъестественных видениях. В это время, после продолжительных бдений на молитве, вероятно, в забытьи от слабости и непреодолимой дремоты, может быть, в самом деле он узрел что-либо страшное, уверившее его в приближении смерти. После этого предчувствие смерти приняло еще более огромный размер и сделалось непрерывным. Ежели задолго перед этим, когда еще не было повода думать о смерти, *страх смерти* потрясал все его существование, то теперь он действительно мог усиливать образовавшуюся болезнь и ускорять начавшийся упадок сил. Ведь занемогают же от одного страха, чувствуют же облегчение в болезни при успокаивающем обнадеживании врача и полной уверенности в силу лекарства!

Видя суету мира, понимая состояние, отделяющее его от других людей, он хранил про себя свои задушевные тайны, никому не открывал себя вполне. Страдания моральные требовали откровенного признания, обнажения всего существа для избрания средств к исцелению. Но *кому* Гоголь мог рассказывать все, обнаружить себя вполне? Возвратиться назад к прежней жизни, к прежним друзьям, ко всей прежней обстановке, когда душа его удовлетворялась одною поэзией, теперь уж было поздно и невозможно. От врачей старался он отстраняться — так далек он был от мысли, чтоб его болезнь могла быть понята медициною, вылечена медикаментами; да притом почитая врачебную науку скорее вредною, нежели полезною, как мог он слушаться врачебных советов, особенно уверенный в Промысле, недопускающем смерти, когда ее ненужно. Развилась ли бы у Гоголя эта болезнь в такой степени, если б он был в это время в теплых краях, в долгих путешествиях, столь спасительно прежде на него действовавших, и при других, *прежних*, благоприятных условиях — положительный ответ на это возможен был бы тогда, когда бы существовало это *если*.

Ожидая своей близкой кончины с полною уверенностью, он не пожелал идти на суд Божий и в то же время оставить на земную память о себе, часть себя — свои произведения, которые, как он видел на опыте, могут произвести кривые толкования, споры, ссоры, пересуды, негодование... Может быть, он представлял себе в настроении духовном, что он должен будет

отдать за них отчет Богу, как за всякое праздное слово, как за грешную насмешку над людьми. Он решил не пускать их по свету, а разрушить всякую о них память. Однако ж колебание его помыслов было так велико, что сожжение, предпринятое им как Богоугодное дело, в скором времени приписано им злему наущению лукавого.

По уничтожении сочинений, у него не осталось на земле ничего и, напутствованный таинствами, кончив расчет с жизнью, достигнув того, к чему стремилась душа его, исполнив все, предписанное уставом церкви, отложив всякое житейское попечение, он ничего другого не мог делать, как углубиться в созерцание предсмертного часа. Это подтверждается и его словами, написанными пред смертью на клочках бумаги: в них он взывает к Богу, в них он думает о Царствии Божием, молит, чтоб Господь связал сатану\*.

Страдание живота отразилось и в голове: в последнее время понятия его стали путаться и вообще признаки болезни указывали на поражение мозга; но недолго продолжались телесные страдания: внезапное падение сил (см. пр. 14) произвело полное беспмятство, обморок; вслед за обмороком наступила агония, окончившаяся тихой, покойною смертью. Пример любопытный для врача, поучительный для человека.



---

\* Вот эти три предсмертные записочки Гоголя, писанные его дрожащею рукою:

- 1) «Как поступить, чтобы вечно, признательно и благодарно помнить в сердце полученный урок?»
- 2) «Если не будете малы, не ввидите в Царствие Божие».
- 3) «Помилуй, Господи, меня грешнаго! Свяжи сатану вновь...»